

ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ

1

В первую же свою командировку в чине вице-губернатора Ермаковской области Николай Тедеев отправился в Москву. Это была хорошая примета, хотя задачи перед ним стояли непростые — бюджетные. В одном самолете с ним летел его подчиненный, начальник департамента Иван Митрофанов. Оглядываясь, Тедеев наталкивался на его неподвижный недоброжелательный взгляд. У Митрофанова были причины не любить Тедеева. Он был старше Тедеева и рассчитывал занять его пост после того, как кресло освободил по болезни прежний вице-губернатор. Тот был из местных, и Митрофанов был из местных, а Тедеев был чужак, варяг. Говорили (и имели на то основания), что Тедеева продвигали большие люди из столицы. Назывались имена Авена и Гайдара, с которыми он в одно время учился в аспирантуре МГУ, считали, что его навязали

губернатору силой и что он будет «смотрящим». И вел он себя не по-сибирски раскованно, был избыточно приветлив и говорлив, что почиталось здесь едва ли не за хамство. Значит, уверен в себе, значит, за обшлагом у него припрятаны тузы.

Садилась в самолет порознь. Прилетели. Напрасно Тедеев искал глазами Митрофанова на перроне домодедовской электрички: тот спрятался в толпе где-то на отшибе, несмотря на то, что вице-губернатору это могло не понравиться. Доехали порознь и встретились у стойки администратора в гостинице «Россия».

— Вы завтра в правительство? — спросил Митрофанов холодно, но вежливо.

— Да-да, — ответил Тедеев, — к Придворову пойдете один. С чего начинать, вы знаете.

— Конечно, — кивнул Митрофанов, — согласно графику. Вашу раскладку я усвоил.

Их поселили на одном этаже в соседних номерах. Молча добрались до номеров, вставили новомодные карточки-ключи в двери.

— Какие планы? — спросил Тедеев.

— Приму душ и погуляю по Москве. Повезло нам с расписанием. Свободный вечер в столице — в кои-то веки, — ответил Митрофанов. — А вы?

— То же самое, — улыбнулся Тедеев. Его и забавляла, и вызвала невольное уважение неприступность Митрофанова. Он был уверен, что рано или поздно очарует Митрофанова. У него это всегда получалось. И он будет великодушен к Митрофанову.

Был седьмой час вечера по местному времени и одиннадцатый — по ермаковскому. Начало зимы. Над залитой огнями Москвой стояло черное, непроницаемое небо.

2

В начале десятого Тедеев возвращался в гостиницу «Россия» — мать командированных чиновников российских. Он находился пешком от души, раскраснелся от морозца и пребывал в превосходном настроении.

В подземном переходе трио, состоящее из двух гитаристов и аккордеониста, исполняло популярные советские мелодии, не покушаясь на вокал. Было многолюдно, монеты и мелкие купюры исправно приземлялись в перевернутое сомбреро на грязном полу. А играли неважно, лабухи. Впрочем, это было не так уж и очевидно на фоне гула голосов и топота резвых ног.

И надо же: когда Тедеев поравнялся с ними, они забацали «Мне приснился шум дождя». Эта песня была Тедееву очень дорога, потому что под эту песню и сияние и треск костра и завязывался у Тедеева на берегу великой сибирской реки роман с будущей и горячо любимой красавицей-женой. Согласно Льву Толстому, старая, сиропитомная полковая лошадь не может не вскинуться, не заржать, услышав самый отдаленный звук боевой трубы.

Сейчас «труба» дунула Тедееву прямо в ухо. Душа его была возмущена, а пальцы соскучились по клавишам. Он расстегнул свою зимнюю куртку.

— Дай-ка мне инструмент, — сказал он аккордеонисту. Его не поняли.

— Ну, дай, дай, — повторил Тедеев, — мне денег не надо. Дай поиграть! Денег вам только прибавится, увидите.

— ??? Валяй, — согласились они.

Об этом еще не знали в Ермаковске, и не находилось еще повода, чтобы узнали. Тедеев был фанатичным, законченным меломаном. Конечно, благодаря матушке. Его отец осетин, а его русская матушка была осетинской женой. Кому не известно, что тамошние женщины все, как одна, играют на баяне и аккордеоне, собираются в целые оркестры и виртуозничают по праздникам, общественным и семейным, а в будни кропотливо к ним готовятся.

Тедеев замечательно играл на аккордеоне и фортепиано, уже присматривался к саксофону. Свободно, с упоением играл на слух и свободно и со вкусом импровизировал. Во время стажировки в США он побывал в Новом Орлеане и потряс там негров с огромными ртами и креолок с угольными глазами своим пониманием джаза. Вариации на темы Гершвина преподнесли ему жгучий поцелуй одной из креолок. Ему не давали вставать со сту-

ла до глубокой ночи. На крышку рояля прилепили наклейку с его именем. (Кстати сказать, если бы в переходе стояло фортепиано, над которым потел бы профан, Тедеев точно так же не устоял бы перед искушением. Южная кровь! Но фортепиано не замечено в подземных переходах Москвы и других городов. Хотя оно, такое неудобное для транспортировки, могло бы там появиться, если бы у власти оставались безумные рулевые девяностых).

3

В половине десятого возвращался в гостиницу «Россия» Митрофанов. Во внутренних карманах его зимнего пальто появились плоская, но увесистая фляжка с виски и большой кусок сыра «Дорблю», отчего его грудь производила гендерное впечатление. Раскрасневшись от морозца, приятно устав от ходьбы, он, тем не менее, думал о завтрашнем визите в верха — и думал озабоченно.

В подземном переходе он услышал музыку. Великолепен был аккордеон, он был слишком хорош для подземного перехода. Поэтому, идя мимо, Митрофанов все-таки посмотрел на аккордеониста, который с оригинальными переливами исполнял мелодию песни «Белый пароход».

И осекся, и встал, и об него споткнулась какая-то укоризненная женщина. Клавиши пели в руках улыбающегося во все зубы вице-губернатора Ермаковской области Николая Тедеева. Он был просто охвачен вдохновением. И многие, многие светлые люди останавливались, чтобы его послушать.

— Ах ты, разбойник парень! — сказал Тедееву один из них, кавказец, совсем простой.

— От парня слышу, — откликнулся Тедеев, — а слабо тебе сплясать? Мы подыграем!

И полилась бессмертная лезгинка.

— Давай! — крикнул кавказец, начиная переминаясь на пятачке, обтекаемый людьми.

— Дав..., — не договорил Тедеев, и замолчал аккордеон. Напротив него стоял Митрофанов с мрачно-ехидным выражени-

ем лица. Их взгляды перекрестились, и Митрофанов поспешно сорвался с места.

— Спасибо, ребята, — выговорил Тедеев, глядя вслед Митрофанову, — спасибо, отвел душу...

«А платить за это придется, скорей всего, дорого, очень дорого. Подставился, ни с того ни с сего. Глупо!»

В считанные мгновенья богатое воображение во всех подробностях нарисовало ему, что его ждет по возвращении в Ермаковск. Если не принять меры. Но какие, чем зашить рот Митрофанову?

4

Тедеев не стал сразу заходить к Митрофанову с оправданиями своего странного, нелепого поступка. Все равно не поймет, не захочет понимать. Сначала он должен был позвонить в Ермаковск. В Ермаковске начинался третий час ночи. Разумеется, Тедеев звонил не жене, а своему однокурснику по университету, Маслову, который жил в Ермаковске уже лет двадцать и трудился в областной администрации. Он был из тех, кто скромно делит кабинет с двумя-тремя клерками, и кабинет этот находится в тупике за последним поворотом на этаже. Но он знал много, как всякий малочиновный чиновник, ревнивым оком вззирающий на более удачливых коллег. Внутри системы он был от них социально далек, но физически и атмосферно, наблюдательный и не жалующийся на слух, он находился рядом. Маслов уже не раз помогал Тедееву, характеризовал возможных врагов и друзей, делился секретами. Он был умен, дальновиден. Ни при первой встрече, ни потом он не проговорился, что они с Тедеевым однокурсники, прожившие год в одной комнате в общежитии. Тедеев это оценил. Его явление сулило Маслову шанс на продвижение, и это был его последний шанс.

Тедеев хотел со временем повысить его в должности. Проблема заключалась в том, что Маслов подчинялся другому вице-губернатору, но это была когда-нибудь решаемая проблема.

Не удивляясь и не задавая лишних вопросов, Маслов, буд-то и не был разбужен посреди ночи, сказал: Митрофанов слаб на выпивку. Наверняка сейчас у себя в номере поддает. А шлюхами он, в отличие от Иванова, Петрова и Сидорова, брезгует. Он образцовый семьянин, молодая жена — татарка. Но уж в ночь перед вылетом напьется в хлам, такое у него правило.

Тедеев понял, что его спасение в том, чтобы напоить Митрофанова до положения риз. Но сегодня этого делать было нельзя, учитывая серьезную работу у обоих с самого утра. А вот завтра — можно, поскольку послезавтра им предстоит послеобеденные встречи, и они успеют прийти в себя, приняв соответствующие снадобья и хорошенько, с расстановкой пройдясь по столице. Тедеев был уверен, что за это время Митрофанов не будет связываться с Ермаковском, чтобы рассказать свежий анекдот о нем. И разница во времени тому благоприятствует. Опять же, анекдот был личным достоянием Митрофанова и нуждался в капитализации. Митрофанов ждет и гадает, как поведет себя смачно, смешно оступившийся начальник и что он предложит. Ставка, конечно, будет высокой, и заявить о ней должен сам Тедеев. В чем особенная прелесть.

5

Поздно вечером на следующий день, вернувшись в гостиницу раньше Митрофанова, Тедеев умылся и тут же отправился к дежурной по этажу. Он знал, к кому идет. Она как раз заступила на работу, сидела за столом в коридорной нише и перебирала какие-то бумажные лоскутки: записки, заявки. Одежда на ней была форменная, зато прическа и макияж — очень дорогие, на груди красовался дорогой кулон, едва ли не с бриллиантом, на ухоженных руках золотые изделия с дорогими камнями, общим числом пять. Это была та еще дама. И ведь, наверное, в погонах, а?

Тедеев подал ей свою визитку.

— И чем же я могу помочь вице-губернатору из Сибири? — спросила она, прищуриваясь. Сидя, она смотрела на него свы-

сока — навидалась она этих вырвавшихся на простор вице-губернаторов. Она и не таких гостей принимала. И всем им было нужно одно и то же. Судя по страстным очам этого Тедеева, его просьба не будет неожиданной.

Тедеев, редкий случай в его жизни, смешался и затруднялся открыть рот.

— Ааа, — пикантно улыбнулась дежурная, — девчоночку? Или двух? Но вы, не сомневаюсь, в курсе, что у нас девочки отборные и очень дорогие?... Что? Неужели мальчика? Не стесняйтесь. Почему бы и не пошалить при вашей многотрудной работе?

— Нет, — сказал Тедеев, — нет. Никаких взрывов плоти. А заплачу я вам по совести. И, если хотите, дам вам фортепьянный концерт в фойе — у вас там отличный рояль. Нужно разыграть моего соседа, сослуживца. Это будет безопасно и смешно.

— Ну-ка, господин вице-губернатор, слушаю вас с нетерпением.

— А есть ли у вас что-нибудь нейтрализующее алкоголь? Мне подсказали, что есть. Видите ли, я малопьющий, плохо переносю опьянение, — сказал Тедеев.

6

Митрофанов вернулся в гостиницу через полчаса. Он очень устал и мечтал, после отчета Тедееву, выпить и посмотреть по телевизору баскетбольный матч ЦСКА — «Реал». Вопреки прогнозу Маслова, он вчера не прикоснулся к той фляжке виски, зато сегодня прикупил еще одну такую же. Сыра хватало. Сегодня, после обязательной встречи с Тедеевым перспектива прояснится — и выпить будет можно и нужно.

В нарушение неписанных правил Тедеев сам постучался в дверь его номера и предстал перед Митрофановым с бутылью «Белой лошади» и куском сыра «Рокфор». Митрофанов подумал: добрая будет забава, раз Тедеев пошел по этой дорожке, как простофиля.

Однако он ошибся. Они сначала обсудили дела, которые пока, тьфу-тьфу, складывались на удивление ровно и созидательно, потом обратились к ермаковским проблемам. Разговор, как положено, вел Тедеев — и вел конкретно и тактично, советуясь, как знающий и серьезный специалист, не забывающий об общественном благе.

Показывает товар лицом, думал Митрофанов, начиная испытывать невольную симпатию к Тедееву, и ведь есть у него товар, надо признать.

Бутыль опустела. Слегка уже расслабившись, Митрофанов отпрашивался у Тедеева покурить — и за сигаретой тер себе лоб, недоумевая: почему Тедеев помалкивает о вчерашнем? Не ждет же он, что об этом заговорит сам Митрофанов. Не дождется.

А добрались уже до злоключений ермаковской хоккейной команды. Рубрика «Спорт». Оставалась рубрика «Погода». Господи, все проще и глупее, осенило Митрофанова, он хочет меня напоить, элементарно по-деревенски напоить, выпить со мной на брудершафт — будем, дескать, друзья-товарищи. А между товарищами подвохов нет, а есть снисходительность и взаимовыручка. На дешевку меня цепляет.

В очередной раз он возвратился в номер, где его встретила все та же легкая, мягкая, без тени панибратства улыбка Тедеева. И время шло.

Нет, начиная беспокоиться и уважать Тедеева, понял Митрофанов, ничего он не сделает на авось, не заручится ненадежным брудершафтом, но что же он задумал? А уйти явно не собирается.

Тедеев не собирался уходить. Он знал, что теряющийся в догадках Митрофанов, в отсутствие вариантов, предложит продолжить застолье. И Митрофанов обреченно выставил на стол две фляжки виски и свой кусок сыра.

Тедеев, как человек непьющий, но компанейский, с интересом изучал пьющих с благословенных времен диких студенче-

ских общежитий. Митрофанов был пьющий, следовательно, он должен был пройти точку невозврата, когда алкоголь польется в него сам, станет хозяином человека. И человек повалится кулем, не видя сны и потеряв даже намеки на память. И чем он сдержаннее и замкнутее в трезвой жизни, тем сильнее вероятность, что после перепоя вместо памяти у него будет голая тундра. Тедеев запомнил, как страдал, метался и рвал на себе волосы его честолюбивый приятель аспирант Руденко, которому, наутро после зверской попойки, сообщили, что он в развратном состоянии позвонил своему научному руководителю профессору Семенко, человеку жестокому и беспощадному, и обложил матом как его самого, так и политическую экономию социализма. (Ее-то Руденко действительно ненавидел — но Семенко уважал, даже чтил.)

Естественно, через пять минут, когда Руденко собрался падать в ноги учителю и подавать заявление на отчисление из аспирантуры, прохиндеи устыдились и признались — это был розыгрыш, прости нас, мы думали, что ты нам не поверишь. Ну, извини. Ну, прости. Пришлось выпивать сызнова, на последние гроши, и Руденко сидел за столом женихом.

Митрофанов заснул сидя. Тедеев, фантастически для себя пьяный, благодаря таблеткам и трем ложкам масла находился в сознании и движении. Он перетащил Митрофанова на кровать, раздел его до трусов и накрыл одеялом. Выключил свет и поспешил к себе в номер. Его мутило, и остро, почти мучительно хотелось поиграть на аккордеоне. Например, песню о друге из кинофильма «Путь к причалу».

8

Митрофанов проснулся в шесть утра. Он поспал бы и подольше, но его разбудила милая, очень красивая девушка, лежавшая рядом с ним. Голая.

— Просыпайся, Ванечка, — сказала она ему, — мне пора упорхнуть. Заплатишь мне вдвое — видишь, ты укусил меня в плечо.

Митрофанов подпрыгнул в постели. Случилось страшное. Он смотрел на красавицу с омерзением. И молчал, веря и не веря.

В коридоре слышались тихие шаги.

— Что ж ты, Ванечка, невесел? — сказала девушка, повышая голос. — Я Мишель, ты был мне рад, и я тобой довольна, сибирячок, рано заснувший, кусака. Ты мне должен.

Дверь открылась. На пороге — величественная дежурная с добродетельным выражением лица.

— Что здесь происходит? — спросила она театральным шепотом. — Тише, тише, мы не в борделе, а в гостинице «Россия»!

— Ооооо... — ответил ей Митрофанов.

— Похоже, он не хочет мне заплатить, — сказала Мишель, — мне терять нечего, я закричу. Он укусил меня в плечо.

— Ай-я-яй, — огорчилась дежурная, — минуточку.

Она поскреблась в дверь соседнего номера и забормотала:

— Николай Георгиевич, Николай Георгиевич, просыпайтесь. Ваш товарищ накуролесил. У нас могут быть неприятности. Выйдите, пожалуйста, нужна ваша помощь. Меня могут за это уволить.

Митрофанов увидел заспанного и участливо-встревоженного Тедеева, голого по пояс. Их взгляды перекрестились, но не так, как позавчера, в подземном переходе. Нет, Тедеев не злорадствовал, он был опечален за Митрофанова.

— Ох ты черт, — сказал он, — в чем вопрос? И какова его цена? И когда же вы успели, Иван Иванович? Я покинул вас смиренного и уставшего.

— Надо заплатить девице, — сказала дежурная, — она, видно, отчаянная.

— Он укусил меня в плечо, — сказала Мишель.

— Бедный Иван Иванович, — вздохнул Тедеев, — что ж, бывает, дело мужское. Давайте без шума и пыли уладим это дело. Сколько?

Услышав названную сумму, Митрофанов упал лицом в подушку.

— Я заплачу, Иван Иванович, — сказал Тедеев, — не беспокойтесь.

— Я отдам вам в Ермаковске, Николай Георгиевич.

— Не беспокойтесь, — повторил Тедеев.

Дежурная и Мишель поделили деньги. Потом дежурная легонько хлопнула девицу по попе.

— Ой, Катька, ты артистка императорских театров. И с этим укусом какой драматургии добавила! Как ты догадалась себе плечико попортить?

— Ничего я не кусала, — ответила Катька, — я же пришла от этого шведа из пятьсот девятого, он меня и укусил на прощание. Укус свеженький. А он поверил, милый человек.

— Ха-ха-ха, — сказала дежурная, — ладно. Куплю себе внеплановую тряпочку. Одна нам, старухам, радость — тряпочки. А кстати — я вот в восемь сменяюсь и мне этот вице-губернатор поиграет на рояле, что закажу.

— Прикольно, — сказала Катька.

В восемь десять дежурная заказала Тедееву музыку из кинофильма «Шербурские зонтики». Тедеев блистал, играл тонко и раздумчиво, и вся утренняя гостиничная рать и очередь свежих гостей при стойке рукоплескали ему. Дежурная, Вероника Трофимовна, не выглядела уставшей после смены. Она слушала музыку внимательно и растроганно, со слезкой, и вручила Тедееву свою визитную карточку.

10

Пройдут месяцы, прежде чем жители, а во-первых чиновные люди Ермаковской области узнают и свыкнутся с тем, что вице-губернатор Тедеев обожает душевную легкую музыку и при каждом удобном случае берет в руки аккордеон. На банкеты в администрации он приходил со своим инструментом. Когда он посещал районы области, его дожидался аккордеон в кабинете местного начальника, а затем льстивые местные носили этот аккордеон за ним повсюду, включая временные апартаменты, рыбалку или баню.

Это была почти что слава, это существенно очеловечивало его руководящий образ и, между тем, позволяло ему быть

по-особому строгим и требовательным — уважение к таланту добавляло ему полномочий и убедительности.

Из Москвы Тедеев с Митрофановым летели в Ермаковск на соседних креслах. Тедеев любил самолеты. Вот и сейчас, когда самолет вырулил на взлетную полосу и со всей мощью затрепетал, зарычал, готовясь нырнуть в небо, Тедеев испытал привычное удовольствие, отраду от телесного и душевного слияния с самолетом и привычно подумал: «Взлет — всегда праздник».

С Митрофановым они разговаривали в меру о всяких пустяках. Тедеев делился интеллигентными анекдотами. Это утешало и успокаивало Митрофанова. Он видел, что Тедеев сочувствует ему, хотя все-таки немножко на него сердится, как-то мимолетно, неухватимо показывая, что огорчен, расстроен. Умен был Тедеев. Если бы он только сочувствовал, жалел и больше ничего, Митрофанов испытал бы от такой монотонности унижение и пришел бы в раздражение. И в связи с этим мог додуматься до того, что, страшно подумать, конфуз в гостинице «Россия» подстроил этот ласковый Тедеев.

В аэропорту Тедеева встречала жена на своей машине. К счастью, она вернулась из Красноярска на два дня раньше, чем ожидалось. Увидев ее, Тедеев вспомнил про шум дождя.

Тедеев не пригласил Митрофанова в машину, чтобы попутно довезти его до дома, при том что маршрут был прямой и не требовал делать любезный крюк. Они впервые пожали друг другу руки, прощаясь до завтра.

Митрофанов оценил неприглашение как тактичный поступок, уважение границ его личности. Он ехал с комфортом, в японском автобусе, и с какой-то бесшабашностью прикидывал, когда сумеет отдать Тедееву долг. После нечаянной оргии он не прикасался к спиртному, и голова его была свежа.

О происшествии в гостинице «Россия» не узнал никто более, даже жена Тедеева, обладавшая отличным чувством юмора.

БЛИЖЕ К ОБЕДУ

Начало лета, ближе к обеду. По небу вслед за птицами переселялись на север бесчисленные облака. Они прилипали друг к другу, сбивались в «волоконистые стада», в эскадрильи и флоты, в монастыри, в огромные юбилейные букеты, в гигантские рыхлые торсы с гигантскими разно- и многоглазыми головами. Громады, что повыше, рывками обгоняли громады, что пониже, как бы газуя.

Облака торопились, соревнуясь в полете, словно на севере им медом намазано. Но говорят, что на полюсе всегда ясно и облаков там не бывает.

Внизу, на дне, почти что в самом центре значительного сибирского города и посреди газона, зажатого между грязновато-белых панельных многоэтажек, стояла легонькая скамейка из штакетника, все еще целая, но на вид очень хрупкая, потому что ее не покрасили, а только помазали, словно на бегу, бежевым.

Вокруг скамейки — вперемешку разные цветы, долговязые и приземистые, много цветов из детства женщин нашего четвертого подъезда, которые их и посадили. Эти немолоденькие женщины прожили в нашем доме все двадцать лет, весь его век, и когда выросли их дети и появились первые внуки, созрели для того, чтоб ненавязчиво хорошо общаться с соседями и заниматься газонами. Они выбирали скромные цветы из своего общего советского прошлого, потому что в них оживали и свежесть, и тепло, и уют детских воспоминаний. Это ранние цветы с тонкими стебельками и невесомыми лепестками, художество-худобой, но оттого и особенно чисты и красивы, напоминая даже о первой любви, о той однокласснице или девочке из нашего далекого двора с ее летним сарафаном в цветочках или ярких цветных горошках.

В основном облака перекрывали солнце, чаще марлевой, реже тюлевой дымкой. Окна синели, за ними стояла вода, в воде бледнели шторы и увядали, прячась, люстры.

А цветы внизу почти сливались с бледной болотной зеленью, будто дремали в ней. Но когда на считанные вздохи,

на одно задирание собачьей ноги между облаками прорывалось солнце, десятки окон сплошь и яростно лили своими прямоугольниками раскаленную, трепещущую, жарптичью сталь, отчего на противоположных им балконах, казалось, плавилась стойки лоджий и загоралось белье.

И цветы внизу раздвигали зелень радужными вспышками, приветствуя солнце и возвращая себе свои простые и честные имена.

Скамейка стояла невредимо, а на скамейке сидели два совсем пожилых человека: женщина, чуть помладше, и мужчина. Женщина — опрятная, по всем приметам деревенская старушка, приехавшая в гости к уже городским детям, родне; явно вдова, судя по опущенной голове и темному платочку на ней. Мужчина — городской вдовец, неряшливо одетый; на нем все было мятым — нечистая шерстяная рубашка, темно-синие брюки от дорогого когда-то костюма в продовольственных пятнах, на босых ногах вьетнамские скороходы. Седые волосы клоками указывали направление ветра. Под ногами — прозрачный пластиковый пакет, в котором отчетливо просматриваются буханка ржаного, неровно ополовиненная, большое зеленое яблоко и дежурный утренний шкалик. Мужчина уже не боялся гласности.

(Сошлись они случайно и познакомились необязательно, как в поезде. Он всегда присаживался подышать на этой, ЕГО скамейке, возвращаясь из магазина. А сегодня — глядь: сидит старушка. Еще лучше — приличная дама, почему бы не перекинуться парой слов, единожды, может быть, за скучноватый одинокий день? Обязательно стоит перекинуться! Молодых смешит эта неразборчивая якобы доверчивость стариков, готовых вслепую выбалтывать друг другу все подряд. Молодые не понимают, что у стариков уже не может быть отдельных тайн и отдельного стыда. Они живут в поле общего опыта, они родные по последнему перрону, понимают друг друга по дыханию и запаху. Поэтому их речи кажутся со стороны неказистыми, облупленными, нечленораздельными. А это не так. Старый человек ждет от старого человека достоверного подтверждения того, что жизнь прожита не зря, именно несмотря ни на что. И здесь убедительны как раз самые обыкновенные земные слова или намеки на них: прах побеждается прахом,

бесформенное бесформенным. Неизбежно ненужного оказалось в жизни гораздо больше, чем представлялось по ходу ее — и это все с облегчением отбрасывается, как мусор, пропадает в той самой тьме, в которую мы войдем следом утешенные, не оглядываясь, очищенные.

Младшим не нравится бессмысленная и обидная раздражительность и глухота стариков. Из ума выжил, говорят они. Ну да, нуда, куда без того. Но нередко за стариковскими искрами и иглами прячется высокая разборчивость эпилога. И ведь доживший нерассыпавшийся ветеран жизни, несмотря на физические болячки, никогда не обидит себе подобного, но полюбит его как ангел ангела.)

Вдовец представился Петром и просил к себе обращаться только так, без отчества. Соседку по скамейке он звал с отчеством, сознательно возвышая над собой. Да, он был старше, но осознавал: пока он жил в городе, не бездельничая, но и попивая, и обижая покойницу жену, и погуливая, эта женщина в деревне тащила на себе всю окружающую среду. И он спрашивает ее о том и о сем, ведет почтительный разговор, будто зарабатывает себе помаленьку искупление грехов. И он, конечно, не поделится с ней тем, что в последнее время он снится себе ходящим без штанов в магазин и в аптеку.

А буханка ополовинена не всуе. Кусочки и крошки рассыпаны по тропинке и траве для подкормки трех голубей. Эти городские неблагородные голуби были вполне сытокрутобокими и нахальными, и главный из них, самчик, несколько раз клюнул Екатерину Ивановну в носок ее коричневой туфельки, принимая ее за хлебную.

Голубок и две голубки. В их поведении, в их взаимоотношениях просматривался сюжет. Одна из голубок обозначилась в компании как приبلуда, нежелательная особа. И самчик, защищая интересы своей подруги, упорно и последовательно отгонял чужачку от любого, самого дальнего и самого условного кусочка хлеба. Следил за ней, больно хватал ее клювом под затылок, вырывал у нее перышки, пихал ее и ругал. Ей не доставалось ничего. Но жадность и глупость заставляли ее возобновлять питательные потуги и получать новые трепки.

Между тем, законная подруга однолюба с какой-то помпезной неторопливостью, как бы с невидимой салфеткой на шее, ела и ела, спокойно переходя от куска к куску. Не обращая внимания на всю эту возню. Эта не подавится.

— Я тоже белый хлеб не ем, так и не привыкла, — сказала Екатерина Ивановна, — если что, сама пеку. Бывает, не привозят.

— А я наоборот с белого на ржаной перешел. Уже лет пять, — отозвался Петр. — А вы-то жили там, в деревне, в болотах своих, бедненько, я знаю. Да все-таки здорово, нет? Вот я насквозь продрях, чихнуть не могу без последствий, а вы молодцом, гладенькая.

— Можно и так сказать. Дышали — точно хорошо, — ответила и засмеялась Екатерина Ивановна, — полной грудью дышали, хоть задышись, аж в ушах звенело. А что? Работали в поле, ели чистое. Да только бедненько-бедненько, каждый ремок на счету. Семья большая, изба тесная. Встань в одном углу, брось буханку хлеба в другой — не долетит! На лету растерзают! Не передали. Чего не было, того не было. И баня, баня...

— В городе живешь — меры не знаешь, — заметил Петр, презирая себя, — кровь застаивается. И безделье на пенсии — о-до-ле-ва-ет! Вовремя дачку не завел. Теперь поздно. И ски-саю. В телевизоре сижу.

— Какой заботливый, — сказала Екатерина Ивановна, глядя на голубей, — настоящий муж. Защита и опора. Ту-то дурешечку даже жалко, проституточку.

— Ничего, найдет себе сдобное, — усмехнулся Петр, — в городе не пропадет. Теперь все птицы окрестные в город переселились. Ушайка вон не замерзает — так и перелетные утки остаются зимовать, и кормят их. Даже галки стали в городе ночевать, в Михайловской роще, рядом... А мужичок-то, смотрите, не зевает: хватить ее, бахнуть ее! Голуби на всю жизнь верны. Это тебе не мы, люди, не кобели!

— У меня муж умер, — сказала Екатерина Ивановна, — прошлым летом, а как вчера. Шестьдесят девять лет прожил.

— Выпивал, однако, что попало? — спросил Петр. — На деревне все пьют. В городе тоже.

— Вообще не пил. Один квас. Сам заводил — разный: и сладкий, и кислый, шипучий. Гостей угощал, а сам не пил.

— Русский? — спросил Петр, потирая переносицу.

— Русский, сибирский, дальше некуда. Прабабка селькупка, один дед татарин — и все. Русский, — ответила Екатерина Ивановна.

— Бывает, наверное, и такое, — задумчиво протянул Петр, — а гулять — не гулял? С бабами, с молодками? Не доставлял таких огорчений? Я знаю, в деревне гуляют почище нашего.

— Никогда! Верный был, хороший был. Не матерился... Почти. Не курил! А симпатичный! Бабы наши, между прочим, — одиноких хватало — перед ним вертелись. Устоял. Видно, дорога я ему была. Если уж Планета, красotka вдовая... та, ей-богу, влюблена в него была без памяти, до бесстыдства, кидалась на него, прижимала — бесполезно. Я никогда не беспокоилась, может быть, жалела ее, что ли, даже здоровалась с ней...

— Планета? Неужели имя? В честь космонавтики?

— Прозвище. За объемы. Большая, толстая, румяная вся — лоб румяный, задница румяная. Ее все Планетой звали. Никто сейчас и не вспомнит, как ее на самом деле звали, какая фамилия... Кондрашова? Семечкина?... Нет, не вспомню. Про нее так говорили: титьки пудовые, работница хреновая.

— Значит, болел! Онкология! В городе подряд косит. Что у него было? Что за притча?

— Ничем, милый мой Петр, он не болел, ни на что никогда не жаловался. Разве что насморк. За всю трудовую жизнь лишился одного зуба, и тот сломал по недоразумению. В гостях: в пироге дураки соседи, черт с ними, пятак запекли на счастье. Не в борт, а в начинку его засунули.

— Да что же вы говорите! В шестьдесят девять Богу душу отдать! Может, все-таки испугался чего-то до смерти? Или съел что-нибудь из нынешнего, случайно отравился, а вы и не узнали, не заметили? Бывает же...

— Ничего, ничего, говорю я вам, подобного. И врачи не подтверждают. Не нашли диагноза. С утра солнышко, веселый — в обед внука привезут, пошел по теплomu песочку босиком

в магазин, за конфетами. Перед магазином сошелся с милым другом, соседом, Ананьевым Сергеем Ильичом. О чем-то они и посмеялись на политические темы. И как смеялся, упал на спину, еще рукой как-то взмахнул, чтобы удержаться на ногах. Сам умер.

Помолчали. Петр задумался крепко, как Гамлет. История его взволновала. По ним, по газону пробежал неровный сквознячок. Цветы поклонились и выпрямились.

— А я, — тревожно сказал Петр, — сплю очень плохо, сто раз просыпаюсь за ночь — руки мешают. Некуда руки девать. Как ни пристроишь, то одна, то другая, то вместе — затекают, саднят, чешутся... Мешают спать. А днем — пока ничего.

Тут к мусорным контейнерам, совсем рядом, подъехала спецмашина и подняла свой трудовой, режущий уши грохот. И вовремя: застеснявшиеся от возникшей близости старики охотно поднялись и разошлись в разные стороны.

«Пустомеля», — сочувственно подумала Екатерина Ивановна. «Не пил, не курил. Не ругался, — подумал Петр, — так у нас нельзя. Потому и помер, без диагноза». Солнце наконец захватило все небо — и шкалик в пакете засверкал, развеселился.

ВО ВЕСЬ РОСТ

Маленький городок — здесь живут «у черта на куличках», «в захолустье», «на отшибе от цивилизации». И на глазах у соседей, здесь все соседи. Этот городок — из тех, что как омуты прячутся в лесах, вдали от великих сибирских рек, между разбросанных на тысячи километров друг от друга великих и гулких сибирских строек прошедшего века.

Солнце встает здесь в тишине, но все его видят, и местный ребенок его рисует гораздо чаще, чем его сверстник из областной столицы.

Здесь каждый, от мала до велика, видит цветные сны, и в снах этих пахнет крапивой, полынью, укропом, свежей рыбой, опилками, грибами, лесными клопами, земляникой и грешным телом.

Да, глубокая, омутная Сибирь. Когда-то, лет сорок назад, предстояло городку оживление, укрупнение, обогащение. Местный уроженец, вышедший в видные советские писатели, выслуживший высокий чин и звание Героя труда за тысячи страниц о становлении советской власти в Сибири, давным-давно проживал в Москве, но пастушьих своих истоков не забывал и заботился о земляках. Он дружил с новым, пришедшим надолго, хозяином края, Первым, и сговорился с ним, имея и свое немалое влияние, развернуть в окоеме березок, осин и елей внушительное созидание на тему животноводства и лесоматериалов. Первый был честолюбив, трудолюбив, разумен, нетипично трезв и обожал ходить на лыжах.

«Пускай нам общим памятником будет...» — решили они. Дело закипело.

Да и выкипело. Отечественная история переделалась и перекрасилась. И громоздятся и по сей день в городке и его окрестностях разнообразные орудия и агрегаты из ржавого металла, пустые недостроенные фермы и цеха без окон, дверей, полов и крыш, которым, если они и были где-то частично прилагательны к месту, с годами «приделали ноги» земляки советского классика.

Едва попробовали, на один зубок, какого-то благосостояния, верней, надежды на него, — и до свидания. Расстелили скатерть, разгладили — и убрали со стола. При советской власти трепали людей, как лен, — и морочным было для людей, всегда ей должных и обязанных, такое внимание.

— А теперь люди превратились в ненужную доуку для хозяев. Власть — равнодушная и разбойничья. Варяги-ворюги, — сказал доктор Закревский, начитанный человек, наследственно владеющий критическим словом.

— Худо было вчера — давили в нищете, худо стало сегодня — бросили в нищете. Когда-то, в первоначальной Америке белые платили индейцам за землю неграми-рабами. Индейские вожди, чуждые индустриальной эксплуатации, не знали, что с ними делать. Чем их занять, как употребить? Кормить их даром — накладно. Приставить к домашней работе — разленятся свои жены и дети. Пусть себе сами кормятся? Так ведь

они плодятся и плодятся, и угроза уже встает над заветными местами охоты, рыбалки и собирательства. Нет, приговорили вожди, надули нас, пусть рабы проваливают обратно, в мир жадных белых людей, — высказался доктор.

Он был рассеянный от своей хлопотливой работы человек. Покидая больницу, он уселся в машину в халате и бахилах. Из уважения мы постеснялись ему на это указать. Спыхватился, когда мы уже подъехали к кладбищенским воротам, и принялся разоблачаться, приговаривая: «плохой юмор получился бы, выйди я таким манером к могилкам».

Так и остался городок обидным макетом, сырым наброском новой жизни. Лучше бы не манили, не искушали. И в городке на десять тысяч населения стали ржаветь не только брошенные железяки, но и ненужные человеческие души.

— Душа же не для себя живет, — сказал доктор, — она живет в небо. А в небе пусто.

Житие здесь для большинства горожан — нужда и зависимость. Как древние мещане из городишек уездной Руси, люди перешли на натуральное хозяйство с картофельным полем, огородом и разносолами из всего, что на нем растет, с добычливыми хождениями в лес и на реку. Сносно бы жилось служащим и пенсионерам, но их копейки атакуются. У одних копятя и тратятся на учебу «в области» детей и внуков, у других отнимаются детьми и внуками на мелкие удовольствия отуманивания разума и частичного удовлетворения плотских вожделений. В городке три бара и тьма нелегальных забегаловок — помилуй Бог! Выпить в них можно и за вещи — родительские и чужие.

Работы мало, очень мало; чтобы ее получить, надо заискивать, выслуживаться. Нередко до унижения перед чиновниками и еловыми капиталистами. Как правило, это одно и то же лицо.

Втрое больше приходится заискивать, унижаться, соглашаться и пропускать всякое хамство мимо ушей, чтобы на работе удержаться. Страх потерять работу и выпасть «в канаву» сильнее других чувствований. Желających попасть на твое место — взвод. Они следят за твоими успехами завистливыми

глазами. И вот уже кого-то оклеветать, подставить — как победать чем Бог послал.

Молодежь бежит из городка, с переменным успехом устраивая судьбу в больших муравейниках. Оставшиеся и вернувшиеся слоняются в мятой одежде и грязных носках, пьют и лелеют скверные мечты, поглаживая фонари под левыми глазами.

— У кого вы купили молоко? — спросила нас наблюдательная женщина с брежневскими бровями.

— А за углом, напротив отделения банка, в киоске.

— У этих? Зря. У них молоко с соплями! Нехорошие люди.

«Жестокие нравы» в этом городке. Им правят тираны, которым не нужно повышать голос. Битвы за место под солнцем прошли здесь за считанные месяцы. Часть побежденных покинула округу, двое упокоились на кладбище, еще десятка три, пройдя курс физиотерапии, ушли во внутреннюю эмиграцию. И тираны патриархально прибрали к рукам все то небольшое, что связано с доходами и почестями.

— Добрые люди есть, есть, — утешил доктор Закревский, — их больше вашего. Мои соседи, например. Это вам не Америка, страна Желтого дьявола. Но наши добрые люди — тихие, на овощах выросли, своих куриц не режут — зовут чужую бабушку.

Доктор Закревский — сельский врач, каким был у нас сельский врач полторы сотни прошедших лет. Добросовестный, в меру возможностей надежный, из интеллигентной семьи, по которой, конечно, проехали туда и обратно колеса Большого террора. Он походил на киношного доктора Калюжного, только здорово постаревшего и заболевшего исторической иронией.

Однажды он не спас пациента — а случай был аховый — и с тех пор у него появились враги. Добро бы родственники покойного, но и совершенно посторонние люди, которые получали моральное удовлетворение, не здороваясь с ним и глядя мимо при уличных сближениях. Их не интересовала суть той драмы, они обогатились поводом для презрения, чтобы расширить за его счет свое значение в жизни.

Так он получил рубец на сердце и опаску здороваться первым.

Он ведет нас по кладбищу.

Кладбище — самая чистая местность в городке. Оно оказалось теперь почти что в самом его центре, его со всех сторон обступили малорослые кварталы, зеленые и скромные, как оно. Березы словно перебегают из одних кварталов через кладбище в другие кварталы, под сорочьи трещотки и бормотание свиристелей.

Все хорошее в жизни городка связано с кладбищем. Здесь горожане обретают умиротворение от тонкого лирического ландшафта и перекрестного соседства дедовских и родительских могил. Здесь — источник сглаживания конфликтов, до примирения сторон, благодаря встречам людей в Родительский и другие дни и воскрешению воспоминаний из пепла буден.

Могилы убраны, ухожены всегда — в маленьком городке все и всё на виду, и нет греха позорнее запущения отеческих могил. И кажется, что потомки, бессознательно или напоказ, соревнуются в пределах этого сюжета.

Навстречу нам — видное издалека и отовсюду надгробие, стела с изображением покойного во весь рост. Подобные стелы воздвигают для ушедших в инобытие цыганских баронов и криминальных авторитетов, оплачивая сугубую охрану могилы, потому что в могилы этих цветов зла кладут ювелирные изделия (подделки?) и дорогие сотовые телефоны. Одежда и обувь тоже очень привлекательны. Один кладбищенский сторож после двух бутылок казахстанского коньяка говорил мне, что во время его очередного ночного бдения из свежей могилы слышался марш Преображенского полка.

На стеле взмывала над нами черно-серо-бежевая фигура пожилого человека, прожившего пятьдесят девять лет. Занимали внимание какая-то его заемная плебейская осанка, руки, увядающие в огромных перстнях, отвисшая, карамазовская, сладострастная нижняя губа, над которой ровным частоколом зрелись бежевые зубы, и натужно-пронзительный взгляд: глаза с бежевыми белками сходились к тончайшей, лезвием, переносице, сливаясь в опрокинутую восьмерку, знак вечности.

— Наш пахан, владелец наших заводов и пароходов, наш дон Корлеоне, — сказал доктор, — был секретарем райкома,

потом верным ельцинистом, а в итоге сгреб под себя все, даже шкуры дохлых коров. Придушил все, что ползает, ходит и летает. Детей и жену спровадил в Москву. Жил с собаками, гулял с подкулачниками, нанимал проституток из областного центра. Перестрелял всех лосей в околотке. Главного своего недруга приковал к лодочному мотору и утопил в реке. Он, больше никому.

Доктор перевел дыхание и попросил сигарету.

— И пил, пил, пил. Чаще и чаще ездили к нему из больницы, ставили капельницу, откачивали. Все больше платил за спасение. Когда, как верный коммунист, отмечал седьмое ноября, наутро так перепугался, что пустил, придя в себя, слезу и поцеловал руку у сестры, бабки Марьи Григорьевны. Она потом запястье спиртом оттирала с полчаса. А потом...

Доктор улыбнулся уголками губ и вытер свои усы.

— ... А потом был Новый год. Проводил гостей, допивал с охранником, отпустил его, чего раньше не делал, на пару часов к семье. И умер на своем дубовом паркете, лежа на спине, в одних трико с генеральскими лампасами. Диагноз: захлебнулся рвотными массами.

Доктор посмотрел Твистеру в глаза и протянул к нему руку, по-древнеримски. И закончил свою речь словами, которые напомнили нам, что его замечательные родители познакомились в Карагандинском лагере в начале пятидесятых.

— Так подкралась к этой суке хана! — жестко, по слогам, сказал он и махнул рукой, из которой вывалилась на постамент дымящаяся сигарета. Он не стал за ней нагибаться.

ДРУЖБА НАРОДОВ

(святочный рассказ)

Лето, утренний автобус, в салоне десятка два пассажира. Среди них выделяется крохотная бабушка в очках с пухлыми стеклами и в толстой вязаной кофте, конечно, темно-бордовой. Кофта на ее игрушечном торсе смотрится как японский панцирь. Она сидит на переднем сидении, спиной

к движению, и сидит очень беспокояно, мается от безделья. Снохам от таких свекровей одно горе и вечные муки совести.

Заметен и молодой человек, стоящий в середине салона. Еще бы — он несомненный африканец, плотненький, но на диво малорослый, и поэтому скорей цепляется за поручень, зависает на нем, чем полноценно держится. Камерунец? Конголезец? Он проживает где-то по соседству со мной, мы часто садимся в автобус на одной остановке. Он, кажется, студент-медик, младшекурсник, сошедшийся с русской девушкой, тоже невеличкой, и поселившийся у нее.

Дети Черного континента в наших палестинах еще редкие гости, и относятся к ним чаще хорошо, участливо. И даже услышишь: «Не куда-нибудь приехал со своей Лимпопо, а к нам, в сибирские снега — соображает, что в нашем городе образование действительно высшее. Ради этого и к стуже готов привыкнуть».

Бабушка очевидно прожила свой век в деревне, и такое близкое соседство с темнокожим человеком ей в новинку, волнует, будоражит ее. Она высматривает его среди стоящих пассажиров, ей, судя по негромким, про себя, возгласам, любопытны и его курчавые волосы, и полные губы, и белые ладошки, и даже то, что несмотря на свое негритянство и прежнюю жизнь в открытой природе и нагишом, одет опрятно, гладко выбрит, и ногти у него в полном порядке.

Он видит ее настойчивое внимание и конфузится, опускает голову, встает к ней боком.

И тут, совершенно нечаянно, без всякого злого умысла, она чуть громче говорит: «Вот ноздри-то! Подкачали! А хорошенький, хорошенький мальчоночка!»

Сказалось — ну и сказалось. Незаметно было, чтобы она смутилась от своей бестактности — иностранец наверняка плохо понимает русский язык и, как все иностранцы, плохо слышит. Им надо кричать в уши, а она же не кричала.

Услышали ее, однако, все, все и улыбнулись, по утреннему благодущию, кто широко, во весь рот, а кто аккуратно раздвигнув губы. Посмотрели на африканца: хорошенький.

А он закрыл глаза и тоже улыбнулся. Может быть, свою бабушку вспомнил, если она у него добрая.

Через пару минут подоспела его остановка, и он осторожно двинулся к выходу, опережаяще передав мелочь по эстафете ладошек водителю.

Последней в цепочке была эта бабушка. Она приняла на ладонь две десятирублевые монетки, опознала их и показала африканцу указательный палец: минуточку. Сейчас он уйдет, не перемолвившись с ней ни словечком. И она громко, отчаянно спросила его:

— Сынок! Тебе за сколько? Или по-пенсионному?

Хохот! Сын Африки засмеялся, оторвал руку от поручня. А автобус уже резко затормозил. И сын Африки уселся на колени к седому и полному чиновнику областной администрации. И тот отечески приобнял его, как родного сына или внука, усадил его поудобнее и для пущей красоты понарошку поцеловал в темя.

Хохотали до слез все, включая водителя, еще не уставшего от работы азербайджанца. Провожали юношу всем автобусом согласными движеньями рук. И почему-то очень нравились самим себе. И одна молодая женщина поцеловала довольную бабушку.